



Иван Алексеевич Бунин

КНЯЗЬ ВО КНЯЗЬЯХ

Содержание

#1	0005
Комментарии	0024

Иван Алексеевич Бунин
КНЯЗЬ ВО КНЯЗЬЯХ

Лукиян Степанов приехал в светлый сентябрьский день к помещице Никулиной. До его хутора верст пятнадцать, лошадьми он дорожит как зеницей ока. Значит, приехал он по важному делу.

Гнедой жеребец, сверкая глазами, тяжело влетел во двор, к сараю, где еще до сих пор слезают те, что не решаются слезать у крыльца. Лукьян Степанов сидел на беговых дрожках, на голой доске.

— Что же это вы, Лукьян Степаныч, без подушки-то? — смеясь, спросил его лицеист Сева, шедший от конюшни.

— Погоди, расскажу, — ответил Лукьян Степанов, привязывая жеребца к телеге без передков.

Сева стал годить. Привязывал Лукьян Степанов долго, основательно. Привязав, высморкался на землю, вытерся полою и, наконец, ответил:

— Вот оттого-то у вашего брата, господ, и нету ничего. Есть подушка — валяй ее и в хвост и в голову!

Взяв с дрожек мешочек, набитый чем-то тяжелым, он пошел к дому — большой, тол-

стый от одежды. На нем была теплая поддевка, сверх поддевки бараний тулуп, голова под шапкой повязана по ушам красным платком, ноги обуты в тяжелые сапоги.

Сева опять засмеялся и сказал:

— А тепло вы одеты!

— Мне, брат, восемьдесят с гаком, — ответил Лукьян Степанов. — Доживи-ка до моего.

— Ну, уж и восемьдесят! Откуда вы столько набрали?

— В поле, брат, набрал.

— Ну, а уши-то вы зачем же завязали?

— Глухой быть не хочу — вот зачем. Отчего вы, господа, глухие-то все? Вот от этого. Выскочил в чем попало, надуло в уши — и готов.

Вышла в зал хозяйка, ее старший сын Мика, лысый, усатый, близорукий, и дочь Люлю — бледная, женственная, задумчивая, постоянно кутающая плечи в пуховой платочек и неожиданно притворно вздрагивающая. Хозяйка угощала гостя белым хлебом, чаем и вареньем, много говорила, делая вид, что очень осведомлена в сельском хозяйстве. Сева не спускал смеющихся глаз с Лукьяна Степанова, с его загорелого лица и носа, который

от загара лупился, был лиловый, в золотистой шелухе. Мика, наклоняясь к столу, курил, сбрасывал пепел в пепельницу в виде ладони и катал хлебные шарики, что всегда раздражало хозяйку. Люлю села с ногами на диван, прижалась в уголок, съежилась и, не моргая, глядела красивыми печальными глазами в большой рот Лукьяна Степанова: десны у него были розовые, голые, без единого зуба. Всех томила загадка: зачем он приехал? А ну как приторговываться к имению? Ах, если бы дал господь! Хозяйка очень тонко, как ей казалось, подводила разговор к продаже имений, намекала на то, что, по нынешним временам, и она охотно продала бы.

— Ах, Лукьян Степаныч, с нашим народом поневоле придешь к заключению, что банк — то самое надежное место для капитала!

Но Лукьян Степанов говорил только о своих лошадях, об умолоте, очень охотно ел белый хлеб, деликатно брал ложечку варенья прямо из вазы, глубоко запуская ее в рот, клал обратно и пил чай. Он делал вид, что слушает хозяйку, изумлялся самым простым вещам, хлопал себя по колену — и опять гово-

рил только о себе, не давая говорить хозяйке. Сидел он в расстегнутой поддевке, под которой была линючая ситцевая рубашка, вытирал лысеющую голову и лицо платком, снятым с ушей. «Совсем еще здоровый мужик! — думали все. — Только борода седая, да и то не совсем, еще видно, что она была рыжая; есть, конечно, и в глазах что-то тусклое, старческое, живот провалился...» Наконец, он встал, принес из прихожей и развязал свой тяжелый мешочек, полный серебра в перемежку с золотыми. Оказалось, что он приехал только затем, чтобы похвастаться. «Да это еще что! — сказал он. — Разве это деньги? Так, запродам овсишко, ну и взял маленько задатку...»

Вызвав удивление, зависть, почтение, он довольно и хитро засмеялся, вернее засипел, открывая розовый рот, поблагодарил за чай, за угощение и пошел одеваться.

— Нет, пора, пора, — сказал он, хотя никто не оставлял его. — И так припоздал. Лучше на Покров еще приеду.

Все были разочарованы и ушли, не дождавись, пока он оденется. В прихожей остался один Сева.

— Ну, вот вы, Лукьян Степаныч, говорите, что вам восемьдесят с гаком, — начал он, садясь на коник. — Ну, скажите откровенно: боитесь смерти? Часто о ней думаете?

— Погоди, расскажу, — ответил Лукьян Степанов, одеваясь.

И опять ничего не рассказал. Повязав уши, надвинув шапку на самые брови, туго и низко подпоясавшись, он стал нанизывать на себя тулуп. Справившись с этим, он устал, задохнулся и тяжело сел рядом с Севой.

— Смерти-то? — сказал он. — Кто же ее не боится? Чудак человек! Да ведь что ж исделаешь? И умрешь, не откажешься... И богатства своего, брат, с собой не возьмешь!

— А вот вы с деньгами так-то ездите: не боитесь, что убьют, ограбят?

— Что я с деньгами, того никто не знает. А и узнает, не догонит. Такого жеребца, как мой, у твоего деда на свадьбе не было.

Усевшись на дрожки верхом, Лукьян Степанов шибко понесся со двора, но, миновав церковь, гумно, всех, кто мог его видеть, потянулся шагом. А в накуренном зале долго стоял столбами свет предвечернего солнца. Сева

открыл пианино, в тысячный раз что-то начал. Хозяйка с грустным и важным лицом несправедливо обиженной, но покорной своей судьбе женщины занялась мытьем и вытиранием чайной посуды, брезгливо отдав горничной вазу с вареньем, из которой ел Лукьян Степанов:

— Выкиньте это и вымойте горячей водой.

Люлю встала с болезненной гримасой, — ах, уж эти доморощенные музыканты! — и, выйдя из дому, медленно пошла по липовой аллее, стараясь наступать на сухие листья, золотые и розовые. «Осень, осыпается весь мой бедный сад!»[1] — высоким голосом запела она. Но оборвала песню на первых словах, свернула на дорожку среди сиреневой заросли, села на скамью и вдруг зарыдала, подавляя рыдания, злобно закусывая край платка, чтобы не закричать от боли. Полоса яркого вечернего света легла на серый старый стол возле скамьи. Какая-то черноглазая птичка беззвучно слетела на ветку, с ветки на стол, туго, бочком прыгнула раза два, с любопытством глядя на плачущую. На гумне, куда, притворяясь хозяином, шел Мика в австрий-

ской куртке и высоких сапогах, ровно гудела молотилка. Ясный, равнодушный вечер был так тих, что она слышна была далеко в поле — желтом, пустом, золотившемся шелковыми сетями паутины.

Через несколько дней подали к крыльцу никулинского дома тройку. Кучер надел плисовую безрукавку, шелковую канареечную рубаху и шляпу в павлиньих перьях, барыня и барышня — траур: всегда есть какая-нибудь умершая дальняя родственница, а это ведь так удобно, если нет хороших костюмов для вагона. Спустив вуали, натягивая фильдекосовые перчатки, они ласково и грустно прощались с прислугой, принимая зонтики, накидки, рыжий плед покойного Никулина. Сева поехал верхом, на нервной худой кобылке. До станции всего двадцать верст, поезд отходил в семь, а выехали в два. Можно было отстать. Сева отстал возле хутора Лукьяна Степанова. Тройка скрылась в степи, среди ржаных жнивий; он повернул на заросшую полынью дорогу к хутору.

Было жарко, вокруг блестела сухая вспаханная земля на картофельных обобранных

полях. Вдали серебрились тополя. Навстречу шел по пыли белый толстый мальчик, лет трех, в грязной рубашечке, в большом картузе, похожий на старичка, шел, положив голову на плечо, неизвестно куда. «Заблудится, пойдет к черту на кулички», — подумал Сева, смеясь.

Был праздник, послеобеденное время — хутор казался необитаемым. Вот плетень и въезд в широкий двор. На дворе — телеги, сорокаведерное каменное корыто, журавль колодца, тень от старых амбаров под сизой соломенной крышей. Нарушая вид степного мужицкого гнезда, белеет за амбарами еще не крашенная железная крыша нового мещанского дома на высоком фундаменте. Дальше — какой-то черный исполинский шалаш, возле которого висит на шестедохлый ястреб. Впереди мелкий пруд, сверкающий на солнце, глиняные берега в гусином пуху. А по другую сторону двора — развалины варка, старинного, еще тех времен, когда хутор принадлежал барону Ачкасову: каменные крепостные стены, голый остов несокрушимых стропил. Все ворота настежь — виден навоз, сле-

жавшийся, спекшийся, наросший за многие годы под самые переметы.

Лукьян Степанов одиноко и величаво стоял среди двора, без шапки, в лиловой рубаше, опираясь на рогач. Невдалеке тихо сидел в ведре, забитый в него, закутанный в попонку, бледный ребенок в чепчике. Другой, в продранной на тугом животе рубашке, криво и старательно заносил полную ножку, взбираясь на каменное крыльцо амбара. А вокруг все было усеяно спящими: одной семьи у Лукьяна Степанова шестнадцать человек, да еще гости, кум с женой, приехали. Все ошалели, ослабели после обеда, повалились где попало и заснули. Один Лукьян Степанов не сдался: был еще во хмелю, красен, но стоял бодро.

Когда Сева въехал во двор, Лукьян Степанов не спеша подошел, подал ему руку и осмотрел запотевшую под седлом кобылку.

— В Москву за песнями? — спросил он с усмешкой.

Под навесом амбаров сидели на цепях овчарки. Он погрозил им. Возле них, в тени, крепко спал на спине кум, мужик с черной

бородой. На солнце, в телеге — баба в зеленом платье и старший сын Лукьяна Степанова в атласной синей рубашке, в кованых сапогах, с выпущенными из-под голенищ каемками шерстяных чулок. Эти лежали ничком, обнявшись. Прочие спали прямо на траве. Бабы — прикрывшись от солнца фартуками.

— Яишинку? А? — спросил Лукьян Степанов.

Сева, смеясь, отказался:

— Мы только что от завтрака.

— Ну, чайку?

— Право, не хочется. Да и на станцию боюсь опоздать.

— Значит, опять в Москву?

— Да... Пора. Я и так пропустил уже много уроков.

— Жисть вам! — сказал Лукьян Степанов, как бы с завистью, но не скрывая и насмешки. — Урков! А я вот тысяч на сорок имею, князь во князьях, а все сижу. В Киев и то не соберусь никак. А понужней твоих урков. Пойдем, дом покажу.

Возле дома, на рвани ватного одеяла, сушилось просо.

— Кш, пропасти на вас нету! — сказал Лукьян Степанов, махнув рогачом на высоких худых цыплят, бегавших по просу, и поднялся на крыльцо, вошел в сени, делившие дом на две половины. Полов в сенях еще не настилали: навалены были тут рассыпавшиеся колеса, разохшиеся кадушки, кирпичи, известка. В отворенные двери глядели пустые комнаты, кафельные печки, медные отдушники, стены в голубеньких обоях.

Сева спросил, оглядываясь:

— А что же вы его не доделываете?

— Это кого? Дом-то?

— Да.

— Капиталу, брат, не хватает. Это ведь у тебя одна забота — урки учить, задачи решать да диктовку гнать.

— Нет, без шуток? И не доделываете и не переходите. Ведь вы, говорят, под шалашом, в землянке живете?

— Она землянка, а лучше всякой избы, — сказал Лукьян Степанов. — А не перехожу, это правда. Третий год не перехожу, оттого и не доделываю. Не в капитале, понятно, дело. Дай ребятенки подойдут, выровняются.

— Какие ребятенки?

— А внуки. Их у меня числа нет. Пусти-ка их! Живо все шпалеры обдерут.

В задней комнате, в зале, как назвал ее Лукьян Степанов, сидела на полу босая баба, милостивая, очень смиренная на вид, и рубила косяром зеленую траву.

— Это кому же? — спросил Сева.

— Свиным кушанье готовит, — сказал Лукьян Степанов. — Пойдем. Тут жарко.

— А я все-таки избу вашу хотел бы посмотреть.

— И в избу сведу.

Под громадным, черным от старости шалашом толстый потолок из бревен покрывал громадную землянку. Спустились вниз по земляным стертým ступенькам. Внизу было мрачно, темно — свет проходил только в два крошечных окошечка под самым потолком. Сева увидел нары человек на двадцать, опять-таки заваленные старьем — попонами, лотками, ошметками лаптей, люльками; оглядел рассевающую кирпичную печь, полати, стол, занимавший чуть не половину избы, щербатые чугуны на мокром земляном полу

возле печки, — в них, в воде с золой, выпарились портки и рубахи.

— Но это ужасно! — сказал он смеясь. — Как же вы тут живете! Ведь вас шестнадцать человек. И целую зиму спите все вместе...

— Ничего тут нету ужасного, — сказал Лукьян Степанов, что-то внимательно оглядывая под печкой, и вдруг махнул рогачом: из-под печки, раздувая золу, вылетел больной облезлый голубь. — Ничего тут нету, братец ты мой, ужасного. Девять лет прожил, как дай тебе бог прожить. Ни разу не угорели. Диво, а не изба. А теплынь какая! Зимой прямо хоть рубаху скидавай... Мы, брат, люди земляные.

— Но сыро, должно быть, ужасно?

— Наладил! Сыро, это правда, дюже сыро. Пойдем, свою охоту покажу.

«Охота» Лукьяна Степанова, его знаменитые на всю округу чернопегие битюги помещались в особом дворе, в каменной, крытой тесом пристройке к новому дому. Отомкнули замки на высоких тесовых воротах, вошли в уютный квадрат из денников и амбарчиков с крылечками и маленькими железными дверками.

— Вот буду жить в новом доме, проснусь так-то ночью, гляну, а н мне из залу все и видно, — сказал Лукьян Степанов, показывая на окошечко, глядевшее из дома во двор. — Понял? Умно придумано? Истинно, как Адам в раю живу! Истинно, князь во князьях!

Глаза его стали блестеть. Денники тоже были на замках. Отмыкая их, он распахивал дверь, смело шел прямо к заду лошади, оглаживал его и шел к голове.

— Ты не ходи, не ходи! — кричал он из денника. — На порожке стой. Насмерть убьет! Меня только одного подпушают...

Страшные траурные лошади вздрагивали всей кожей, шарахались, храпели, косили огненными глазами. Гривы у них были черные, густые, чуть не до земли. Раскормлены они были на удивление, до желобов на спинах и крупах.

— А? Что? Каково? — глухо кричал Лукьян Степанов из темноты. — Видал? А то Москва... Боле ста лет в нашем роду этот самый завод, такой масти ни у кого во всей губернии нету. Стану помирать, накажу цельную тройку запречь в самую первую телегу, — тройкой

гроб помчат!

Потом, нагнувшись, переступил порог денничка, где стояла ладная жемчужная кобылка.

— А это моя любимица! Земчужная лошадка называется. У, матушка! Любишь? Любишь? — Любит, чтоб ей носик чесать, страсть любит, — сказал он с восторгом, обращиваясь к гостю.

Все осмотрев и затворив, замкнув, он обрел еще более прекрасное расположение духа.

— погоди, дурачок, погоди, поспеешь! — говорил он, удерживая Севу. — Пойдем чай пить. А не хочешь, давай так посидим, побалакаем...

Он сходил в избу, принес скамью, сел; глубоко и довольно вздыхая, усадил Севу рядом с собой.

— Эй, бабка! — закричал он на весь двор. — Старуха!

Толстая, сутулая старуха в шерстяных чулках, в очках, с паголенком[2] и спицами в руках, показалась из-за шалаша.

— Княгиню-то мою еще не видал? — спро-

сил Лукьян Степанов, кивая на нее. — Заодно уж и ее погляди. Она у меня тоже при делу. За избой сидит, мак стережет.

Старуха подошла и низко поклонилась.

— Ну, как? — спросил Лукьян Степанов. — Сидишь? Никого не видать?

— Пока, слава богу, никого. Да ведь знают, что есть караул.

— Маку немножко для потехи посеял, — сказал Лукьян Степанов, обращаясь к гостю. — Я этих там маков, подсолнухов нипочем не уважаю — для потехи только сею по малости, абы-абы ребятишкам хватило. Как сеяли деды-прадеды ржицу, так и нам бог велел. Они только ее, матушку, знали, а сигарки из трехрублевок вертели. Я, братец ты мой...

Старуха стояла и блестела мелькающими спицами, слушала, глядя исподлобья, из-за очков. Лукьян Степанов слегка нахмурился.

— Ну, будя, послушала, — сказал он и махнул на нее рукой. — Что приглядываешься? На мне узоров нету. Ступай, ступай отцеда...

Вечерело. Галки, болтая, усаживались на решетчатые колпаки на трубах нового дома.

Стали просыпаться спавшие. Один за одним прошли мимо, на пруд, умываться, сыновья Лукьяна Степанова, — угрюмые, густоволосые, крепкие мужики. Ребенок, сидевший в ведре, повалился вместе с ведром и кричал на весь двор. Сева простился. «Ну, во святой час, — сказал Лукьян Степанов, — подюжей учись», — и Сева, вскочив на свою нервную кобылку, поехал по плотине пруда. Вечерняя прохлада и тишина сходили на степь. Воробьи осыпали горелую, голую лозинку на плотине сплошным треском, вечерним, уютным. Желтоватая жидкая вода кишела возле плотины мельчайшими вшами. Умывшийся мужик сидел на глиняном берегу распояской, отражался под берегом и глядел на оранжевое солнце, садившееся за степью, за неоглядной равниной, в молочно-голубом сухом тумане. Жнивья были лимонные. Пастушонок, с раздутой губой, в бараньей шапке, медленно гнал по ним стадо овец. Они двигались скопом, на ходу докармливаясь, с шумом дыхания. Сева, отъехав от хутора, ударил плеткой по лошади и понесся вскачь, оставляя за собой столб пыли. Столб этот протянулся на

версту и не опадал долго, долго...

В Москве всю осень шли дожди. Мика не писал и не слал денег из деревни — опять с любовницей связался. Мама хворала, — по крайней мере не принимали никого, говоря, что она хворает. Принимали только одного Жедринского, старого театрала, бритого, очень полного, страдавшего одышкой, славившегося своими остротами на весь город. В ноябре Люлю, неожиданно для всех, вышла за него замуж. Теперь уже валил снег, ночью вверх по Тверской одна за одною неслись, гремя глухарями, тройки. Жедринский часто проводил ночи с компаниями в Стрельне. Куря на морозе сигару, сидя в дохе между женою и маленькой знаменитой артисткой, Жедринский все наклонялся к ней и остротами вполголоса заставлял ее хохотать до упаду и бить его по рукам. Люлю, в дорогих легких мехах, в средневековом бархатном берете, печальными, молящими глазами, уткнув лицо в муфту необыкновенной величины, смотрела на сидящего напротив молоденького сумского офицера. Его сосед, знаменитый певец, с лицом екатерининского вельможи, стрижен-

ный в скобку, по-мужицки, но в цилиндре и медвежьей шубе, делал ленивые, бесстрастные глаза, ревновал. Люлю грустно думала:

— Я гадкая, гадкая...

Жизнь в Стрельне, у Яра только начиналась. Весело было входить туда, в огни, тепло, блеск зеркал, теплый воздух, пахнувший сигарами, шампанским и жареными рябчиками, отряхивать морозный снег с мехов, кидать их на руки ловких людей в поддевках и помогать дамам, шуршащим шелком юбок, покрасневшимся и сияющим с мороза, расстегивать ботики!

А Лукьян Степанов, мирно ночевавший со всем своим многочисленным потомством и телятами в теплой земляной берлоге, уже третий раз просыпался в эту пору и босой выходил наверх, на скрипучий снег, под черно-синее небо и звезды.

Капри 30. 12. 1912

Комментарии

Журнал «Вестник Европы», СПб, 1913, № 3.
Заглавие в черновом автографе —
«Лукьян Степанов», и дата: «Вечер 30, утро 31
декабря 1912 г. Капри».

Изначально после слов «Сева открыл пианино... что-то начал» Бунинным было написано: «Лунную сонату, из которой он знал только первую страницу».

Примечания

1

Романс на слова А.К. Толстого; известна музика Кюи, Бюцова и О. Клема.

[^^^]

Т.е. с голенищем чулка.

[^^^]